Шура везла на плащ-палатке каменно отяжелевшее тело Кравчука и, изредка оглядываясь, смотрела вверх на затянутые туманом кусты, где беглым огнем стреляли орудия.

Лежа на спине, Кравчук стонал, его суровое красивое лицо было обезображено болью, сильные руки беспомощно чертили по земле. Он был ранен первым, и она снесла его от орудия под обрыв, положила на плащ-палатку.

Ни Днепра, ни твердого берега не существовало – над всем нависла сырая, белая мгла осеннего утра. Плотный туман душил, лип к глазам, к потному лицу, как клей, и Шуре хотелось содрать его с ресниц, со лба, точно паутину. Она шептала самой себе:

– Ничего, любимый мой, ничего, потерпи. Еще немножечко осталось. Вот сейчас, вот и берег...

Она увидела в просвете холодный блеск Днепра, который с сумрачным шуршанием наползал на мокрый песок, зыбко качал в заводи черные плоты, на которых как будто год назад переправились сюда артиллеристы и пехотинцы капитана Верзилина. А туман был наполнен перекатами звуков, слепыми ударами наверху, где скакали мутно-красные вспышки разрывов, путаясь с частыми вспышками орудий.

Туман раскалывался, гремел обвальным перемешанным эхом над головой Шуры, и, фырча, перелетали болванки, тупо шлепались в воду.

– Вот видишь, все будет хорошо, – ласково сказала Шура, наклоняясь над Кравчуком. – Вот наложу бинт, и все... Ты потерпи. Подождем немного и переправимся... Туда, в госпиталь...

Бинт, второпях наложенный ниже живота, буро намок, даже на вид отяжелел. Она разорвала индивидуальный пакет, приподняла неподатливое тело Кравчука. Он замычал, скрипнул зубами.

– Я все сделаю, – шепотом заговорила Шура, продевая бинт под его широкую спину. – Все сделаю, родненький!

Он открыл глаза, влажные от боли, стыдливо оттолкнул ее руку со своего живота, странно кривя губы, уже осмысленно и ясно спросил:

– Ты это? – Я...

Он опять как-то весь ослаб, застонал, приник щекой к плащ-палатке, и Шура, перебинтовывая, чувствовала, что и сейчас он презирал, осуждал ее, а она говорила, успокаивая его:

– Ты силу береги. Не говори ничего. Молчи, родненький... Так будет лучше...

Кравчук лежал тихо, заметно билась жилка на его сильной обнаженной шее.

– Не пришлось... Почему так, а? – еле внятно проговорил он.

– Что не пришлось?

– Пожить... Не вышло...

Кравчук с мучительной нежностью потерся небритой щекой о плащ-палатку, будто хотел и не мог приласкаться к этой ставшей неуютной земле.

– Искал. Выбирал. Строгую... Ее и детей на руках бы носил... Детей люблю. Увидел тебя, подумал: «Вот она...». А ты... не та... Не постоянная. Не мать...

– Кравчук, милый, что ты говоришь? Все будет хорошо, – зашептала Шура те обычные ласковые слова, которые привыкла говорить раненым, и, хотя по движению его бровей увидела, что он понимал ее неискренность, понимал, что уже осталось недолго жить, улыбнулась ему. – Переправим тебя в госпиталь, сделают операцию... Погоди, еще на свадьбе твоей погуляем. Ты откуда? Из Чернигова? Напишешь письмо...

А он попросил печально и просто:

– Ну, заплачь хоть, а? По мне заплачь...

Она глядела на него с ужасом – этого никто не говорил ей никогда. Но она не могла заплакать. Она наклонилась и поцеловала его в горячую щеку слабым прикосновением губ.

– Нет, ты хороший, Кравчук...

Тогда он насильно отвернулся, не открывая глаз, прошептал с тоской:

– Ох, как я тебя жалел бы!.. Жалел... Я ведь тебя любил...

Она сама погрузила Кравчука на плот, и простились они как близкие, понимая, что расстаются навсегда; он сказал по-прежнему просто:

– Прощай...

– Прощай, Кравчук, – ответила она грустно. – Прощай, милый.

Так первым ушел с плацдарма сержант Кравчук. А она раньше думала, что у него красивая, хозяйственная жена, дети, двое детей, но нет, ничего этого не было и, наверное, никогда не будет...

Потом она поднималась по земляным ступеням к орудиям, шла все быстрее и быстрее, пытаясь не думать о Кравчуке, и не могла. В ее памяти он был тесно связан с Борисом Ермаковым, и ей неожиданно вспомнилось, как они стояли на холодном ветру под гудящими соснами, на острове, в ночь переправы, и Борис, обнимая ее, говорил полусерьезно: «Не надо слез. Я тебя еще недоцеловал».